

Русская литература

№ 4

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1968

Год издания одиннадцатый

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Ф. Я. Прийма. Великий художник русского слова	3
Т. П. Голованова. Тургенев и советская литература	20
Г. А. Бялый. О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский)	34
А. Н. Смирнова. О теме народа в прозе первых лет революции (1917—1921)	51

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Д. Смирнова. Пометы М. Горького на книгах И. С. Тургенева	65
Статья С. Г. Скитальца о Тургеневе (публикация В. А. Громова)	73
Г. Г. Фирсов. Тургеневская общественная библиотека в Париже	80
В. И. Малышев. Об изучении наследия протопопа Аввакума	89
Д. С. Бабкин. Русская потаенная социальная утопия XVIII века	92
Ю. К. Руденко. К вопросу о юношеских дневниках Н. Г. Чернышевского как литературном произведении	107
И. М. Порочкина. Воспоминания М. Горького о Л. Толстом в откликах славянской печати	116
Л. Л. Бельская. Роль А. Блока в становлении поэтики раннего Есенина	120

ПОЛЕМИКА

А. Ф. Бритиков. Старое и новое в трактовке трагедии Григория Мелехова . .	131
А. А. Морозов. Проблема значительно сложнее	148

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Р. Б. Заборова. Изучая рукописи Есенина	155
В. Е. Гусев. Еще раз об авторе «Красного знамени»	162

(см. на обороте)

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. А. Шошин. Сердцем друга	174
Л. В. Крутикова. Прочитан ли Бунин?	182
Л. А. Холодович. Японский критик о романе И. С. Тургенева «Новь»	192
А. А. Жук, В. В. Прозоров. Парадокс о сатире	195
В. В. Базанов. Новые библиографические материалы о С. А. Есенине	199
А. И. Павловский. Книга о литературной Сибири первых лет революции	203
Н. А. Грознова. Новое исследование о Леонове	207
К. И. Ровда. М. Горький у болгар	210
В. Н. Баскаков, Е. И. Кийко. Монография польского ученого о Тургеневе	221
ХРОНИКА	224
Г. М. Фридендер. Памяти ученого	232
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1968 году	235

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор)

*В. Г. БАЗАНОВ, А. С. БУШМИН, Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ, Л. Ф. ЕРШОВ,
В. А. КОВАЛЕВ, К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА, Н. И. ПРУЦКОВ*

Отв. секретарь редакции *М. Д. Кондратьев*

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. 12-42-24

Журнал выходит 4 раза в год

Ю. К. РУДЕНКО

К ВОПРОСУ О ЮНОШЕСКИХ ДНЕВНИКАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО КАК ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Впервые юношеский дневник Н. Г. Чернышевского появился в печати в 1906 году. Но М. Н. Чернышевский, издавший его, имел в своем распоряжении тогда только часть саратовского дневника 1852—1853 годов.¹ Лишь в советское время дневники Чернышевского были опубликованы полностью.² С тех пор они широко используются как источник для изучения биографии и мировоззрения великого революционера и писателя, но их всестороннего исследования — и вообще какого бы то ни было специального исследования — не появилось до сих пор.

У ранних биографов Чернышевского, таких, как М. Н. Чернышевский, В. Е. Чепихин-Ветринский, Ю. М. Стеклов и др., мы находим несколько глубоких и верных восторженных оценок, относящихся главным образом к саратовской части дневника.³

Оценка Н. А. Алексеева, редактора всех советских изданий дневников Чернышевского в их полном составе, совпала с предшествовавшими и обобщила их: «Являясь незаменимым материалом для биографии Н. Г. Чернышевского, ... дневник имеет и другое, более общее значение: по своей искренности и непосредственности он должен быть признан одним из замечательнейших человеческих документов, когда-либо писанных. Его можно поставить наравне с „Исповедью“ Руссо. Но Руссо писал свои признания по памяти, много лет спустя после рассказываемых в них событий; в Дневнике Чернышевского мы читаем его исповедь в записях, веденных изо дня в день, без всякой литературной отделки; тем правдивее выглядят они, тем ценнее в психологическом отношении».⁴

Тогда же Н. А. Алексеев произнес единственную известную нам оценку⁵ собственно литературных достоинств дневников: «Дневник писался Н. Г. Чернышевским в те годы, когда он еще только мечтал быть литератором, писался для самого себя, а не для печати, притом в обстановке, не располагавшей к отделыванию слога и порою самой неожиданной... Не мудрено, что язык Дневника далеко не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы Дневник более удобочитаемым для современного читателя. Но они отняли бы у этого драгоценного человеческого документа колорит подлинности...»⁶

Во всех оценках отмечается выдающееся значение дневника Чернышевского как человеческого документа и литературного памятника.

Полное и всестороннее исследование дневников Чернышевского предполагает самые разные аспекты изучения, в частности и как биографического источника, и как источника исторического. Но дневник свидетельствует также об очень серьезных намерениях юноши Чернышевского в области художественного творчества и должен быть изучен как литературное произведение: богатое человеческое содержание может быть запечатлено только в произведении яркой литературной формы.

Задача настоящей статьи очень скромна. Она заключается в том, чтобы проанализировать некоторые особенности дневников Н. Г. Чернышевского как литературного произведения, ограничиваясь главным образом их собственным материалом.

Их сопоставляют, как мы видели, с величайшими литературными «испове-

¹ См.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. X, ч. 2, СПб., 1906.

² См.: Н. Г. Чернышевский. 1) Литературное наследие, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928 (расшифровка М. Н. Чернышевского); 2) Дневник, ч. I. Под ред. Н. А. Алексеева. М., 1931 (в той же расшифровке); 3) Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. I, Гослитиздат, М., 1939 (расшифровка Н. А. Алексеева).

³ См.: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. X, ч. 2, СПб. 1906, стр. VII—VIII; В. Е. Чепихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский. 1828—1889. Пгр., 1923, стр. 94; Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 113. Студенческий дневник Чернышевского до революции использовал в своих статьях один Е. А. Ляцкий. См., например, его работы: Н. Г. Чернышевский в университете. «Современный мир», 1908, № 12, 1909, № 3; Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье. «Современный мир», 1909, № 11; Юношеская любовь Н. Г. Чернышевского. «Познание России», 1909, № 1; Н. Г. Чернышевский в 1848—50 гг. «Современный мир», 1912, №№ 2, 3, и др.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Дневник, ч. I, стр. XVI.

⁵ Одно любопытное, но частное замечание по этому вопросу мы нашли в статье Е. Ляцкого «Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли (Гегель, Белинский, Фейербах)» («Современный мир», 1910, № 10, стр. 153).

⁶ Н. Г. Чернышевский. Дневник, ч. I, стр. VI—VII. То же см.: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. I, стр. 781.

дями», отмечая заведомую непредумышленность их литературной формы. И все-таки, несмотря на то, что они создавались как повседневное отражение «быстро-текущей жизни», они производят впечатление цельности и законченности художественного создания. В этом впечатлении и следует прежде всего разобраться.

1

Если не считать двух дошедших до нас отрывочных записей 1846 года, относящихся к моменту отъезда из Саратова в Петербург для учебы в университете, то первая по времени запись — это описание женитьбы В. П. Лободовского, товарища Чернышевского — студента (май 1848 года). Это не совсем обычная дневниковая запись: в центре рассказа стоит не самый рассказчик, а другие люди, чьи характеры схвачены с большой меткостью в драматический момент их отношений.

Собственно дневник начинается с 12 июля 1848 года. В этот день автору минуло 20 лет, и начатый дневник мыслится как дневник «21-го года моей жизни». Содержание и характер ведения дневника указывают на важную для юноши цель его.

В течение июля и трех последующих месяцев записи ведутся ежедневно и неизменно касаются нескольких избранных тем: отношения к Лободовскому и его жене, отношений к родным, отношений к товарищам-студентам и университетской науке, финансовых обстоятельств, круга чтения и в особенности чтения французских политических газет, размышлений и периодических отчетов о состоянии и движении своего мировоззрения, наконец — интимных физиологических и связанных с ними нравственных переживаний. Чернышевский очень последователен в освещении этих тем, так что перед читателем открывается цельная картина развития его нравственного, психологического и политического облика.

С ноября 1848 года записи в дневнике ведутся уже не ежедневно, и все же в ноябре и декабре пропущено только пять дней, а в январе следующего года — три дня. Резкий скачок происходит в феврале 1849 года — в этом месяце запись делалась только восемь раз. Затем это число падает до четырех-пяти раз в месяц и лишь в июле поднимается до четырнадцати — видимо, в связи с подведением итогов «21-го года жизни» и с началом наблюдений над «22-м годом моей жизни».

В течение всего следующего года дневник пишется регулярно, но нечасто, хотя принцип фиксации материала остается прежним, подневным.

Все это свидетельствует о том, что самонаблюдения представляли острый интерес для Чернышевского в течение довольно длительного времени — более полугода, а затем эта острота, хотя и резко падает, остается, однако, в течение целых полутора лет достаточно интенсивной. Дневник был для Чернышевского — студента двух последних курсов университета инструментом самопознания, самоконтроля, самоотчета.

Если мы можем изо дня в день, из месяца в месяц проследить процесс перекорки политически наивного, детски неразработанного сознания в изумительно последовательное и до тонкости продуманное мировоззрение революционера-демократа; более того, если мы видим, что этот процесс не есть имманентный процесс интеллекта, но каждый момент этого процесса есть следствие и результат сначала почти интуитивной тяги, а затем все более и более сознательного осмысления всей европейской политической действительности того времени и прежде всего западно-европейских революций 1848—1849 годов; если перед нами раскрывается интимный «механизм» становления революционно-демократической этики; если нам дано присутствовать при рождении почти всех основных принципов и даже идей будущего философа, критика, экономиста, политика и, наконец, художника, — то всем этим мы обязаны самому Чернышевскому, его гениальному аналитическому чутью, его редкой нравственной пытливости и, конечно, его литературному дарованию.

Сам Чернышевский, двадцатилетний юноша, со стенографической подробностью проследил все эти сложнейшие процессы. В этом отношении его дневник похож на журнал научных наблюдений ученого-экспериментатора. Многосторонность и содержательность намеченных в дневнике аспектов жизни, редкая последовательность в освещении этих многих и разных аспектов, соединенные с исключительной содержательностью самой внутренней жизни юноши, — вот что придает дневнику цельность и законченность. Это последовательно проведенное всестороннее исследование жизни конкретного человека на определенном ее этапе, так что «год моей жизни» объективно превращается в конкретную тему дневника, а личность автора, отличающаяся редким единством и цельностью нравственного взгляда на вещи, — в образ, имеющий достоинство художественного типа.

Следует остановиться также и на вопросе о стиле дневников. Мы уже привели единственное высказывание по этому вопросу, принадлежащее Н. А. Алексееву. Он говорит о недостаточном «изяществе языка», сожалеет об обстановке, «не располагавшей к отделыванию слога». Трудно согласиться, может быть, не с этими его замечаниями, а с самой его точкой зрения. Чернышевский действительно не отделывал специально слога, и язык его в дневнике порой громоздок. Но при этом и язык и слог его в дневнике свободны, богаты, точны, лишены ка-

ких бы то ни было элементов косноязычия или стилистической беспомощности и громоздки никак не в большей степени, чем язык и слог Чернышевского — публициста зрелой поры. Логичность мышления не приводит его к сухости, почти неизбежной в этом случае. Напротив, слог дневника интонационно гибок, и Чернышевский везде, где касается чужих мнений или высказываний, не прибегает к пересказу, а прямо вписывает их от первого лица. Хотя в этих чужих высказываниях заметны иногда следы индивидуального стиля самого Чернышевского, по все-таки смысл этого приема в том, чтобы сохранить индивидуальную интонацию чужого высказывания, воспроизвести его как можно точнее, собственными словами говорившего. Подлинное изящество, художественность литературной формы — в точности и емкости мысли или образа. В этом плане дневник Чернышевского не нуждается ни в каких извинениях.

2

Дневник ведет нас не к публицистике и литературной критике Чернышевского, а непосредственно к его беллетристике. В дневнике впервые возникают очерки тех социально-психологических типов, тех сюжетных коллизий и конфликтов, которые составят оригинальное содержание художественных произведений Чернышевского.

Размеры статьи позволяют нам остановиться только на одном примере.

Рассмотрим первую запись, тем более, что она, как мы уже отмечали, стоит несколько особняком в системе всего дневника.

Она сделана в два приема — 19 и 23 мая 1848 года и посвящена одной-единственной теме: женитьбе близкого в то время Чернышевскому человека, Василия Петровича Лободовского. Тогда Чернышевскому не исполнилось еще двадцати лет, а Лободовскому было уже лет двадцать пять. Он имел на студента Чернышевского выдающееся влияние, может быть, больше по стечению обстоятельств, чем по своим действительным качествам.

Запись, о которой идет речь, скорее даже не дневниковая, а мемориальная: друг женится, делится при этом с другом-наперсником своими сокровенными соображениями, планами, сомнениями, а наперсник его, он же автор записи, открывший в себе, неожиданно для себя самого, высокие качества души и психологическую проницательность, решил для памяти записать все это в нанточнейшем виде.

Благодаря подробности и большой наполненности записи фактами и наблюдениями, читатель объективно оказывается в состоянии видеть больше и понимать увиденное иначе, чем автор в момент записи. Таким образом, перед нами возникают три героя, очерченные выпукло и определенно. Дело не меняется оттого, что все это — реально существовавшие люди, что во всей записи нет ни малейшего элемента так называемого художественного вымысла. Сам Чернышевский через несколько лет — в эстетической диссертации — теоретически осмыслит это явление: «Бывают ли в действительности поэтические события, совершаются ли в действительности драмы, романы, комедии, трагедии, водевили? — Ежеминутно... Истинно ли поэтичны эти события в своем развитии и развитии? Имеют ли они в действительности художественную полноту и законченность? — Как случится; часто не имеют, но очень часто имеют. Есть очень много таких событий, в которых строго поэтическое воззрение не находит никаких недостатков в художественном отношении... Имеют ли действительные события „общую“ сторону, которая необходима в поэтическом произведении? — Конечно, ее имеет всякое событие, достойное внимания мыслящего человека; а таких событий очень много».⁷

В записи о женитьбе Лободовского зафиксировано как раз такое событие и очерчены такие психологические типы, которые имеют сами по себе «художественную полноту и законченность», имеют и ту „общую“ сторону, которая необходима в поэтическом произведении, ибо все это увидено внимательными глазами мыслящего человека.

Начинается запись сообщением о времени и действующих лицах события: «В конце апреля 1848 г. сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь стапционного смотрителя на первой станции по Московской дороге (Средняя Рогатка) Егора Гавриловича, Надежда Егоровна».⁸

Сразу же вслед за этим приводятся точные слова Василия Петровича о невесте, мотивах женитьбы и его сомнениях: «Это девушка... молоденькая, полная, румяная, но, мне кажется, не отличается особым умом; добрая, будет меня любить и будет, конечно, верна до несомненности, но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувствований, потому что девушка простая, которую едва ли можно будет образовать, и верно я не буду с нею счастлив; ее сделать счастливой постараюсь...» (стр. 29).

⁷ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. II, стр. 67—68.

⁸ Там же, т. I, стр. 29 (в дальнейшем ссылки на этот том приводятся в тексте).

Василий Петрович, как мы видим, уже встает перед нами в собственных своих словах, независимо от авторского понимания и отношения. Он не влюблен и не идеализирует своей невесты. Неясно, любит ли она его («будет меня любить»). Он даже не надеется быть с нею счастливым. Можно подумать, что он принужден к женитьбе силой, не зависящей от его воли!

Читаем дальше: «... главная причина жениться: это существо, которое я буду обязан сделать счастливым, будет для меня необходимым побуждением к деятельности, заставит меня выйти из той беспечности, к которой я привык, принудит и определит мое положение в обществе, и обеспечить его и материально и нравственно; заставит думать и о деньгах, и о службе, и об ученой степени, развернуть внутреннюю деятельность, которая может действовать чрезвычайно энергически, но слишком беспечна» (стр. 29).

Лободовский говорит об обязанности и моральном долге. Но перед кем? Какую роль играет здесь Надежда Егоровна, не в качестве невесты или будущей жены, а сама по себе, как конкретный живой человек? Все, сказанное Василием Петровичем, — это «главная причина», побуждающая его жениться. Но зачем именно на Надежде Егоровне? Нуждается ли она в его самоотверженности («я не буду с нею счастлив; ее сделать счастливой постараюсь»)? Он женится, не будучи страстно влюбленным. Он женится на ней не в благодарность за ее страстную любовь к нему. Наконец, в его мотивах нет и той ноты освобождения женщины «из подвала», которая так характерна для морального облика разночинца-демократа.

Почему же он женится? В его «мотивах» царит одно: мысль о себе, память о себе, любовь к себе; он не замечает и не уважает человека в ней. Все, что говорит он дальше и что с добросовестной подробностью зафиксировано Чернышевским, подтверждает этот вывод и еще больше проясняет суть характера Лободовского.

«*Эта девушка так проста и ограничена, что я буду стыдиться ее перед своими родителями и сестрами, которые несравненно выше ее. Что делать? Я буду скрывать перед ними и всеми это как можно более; когда нельзя будет скрыть, напишу; ездить к ним буду один, без нее; а старшая сестра... пишет мне, что если умрут родители, она не будет жить у зятяев... и будет жить у меня, говорит: „не правда ли, ты без меня не женишься?“ А что теперь делать? Как показать ей мою жену? А я ее так люблю! (т. е. сестру, — Ю. Р.)... Жена не будет знать ничего, я буду стараться сделать ее счастливой, а сам — ну, шутя со мною выйдет что-нибудь нехорошее — шутя и запьешь с отчаяния...» (стр. 29; здесь и далее курсив мой, — Ю. Р.). «... Его ужасно беспокоило, — добавляет автор дневника, — что это может само собой дойти до родных: отца, говорит, это убьет» (стр. 30).*

Надежда Егоровна не подозревает, бедняжка, что ее гипотетическое «счастье» будет куплено, оказывается, ценой отчаяния жениха, а там, глядишь, и запоя! Более того, она поставлена им в ложное положение не только по отношению к нему, но и по отношению к его родным.

А Василий Петрович продолжает свои признания: «А у нее (Надежды Егоровны, — Ю. Р.) есть сестра замужем, это существо милое, которое я мог бы любить; муж у нее чиновник, совершенно истощенный; она поглядывает на меня неравнодушно; боюсь как бы чего не вышло. Стану реже видеться с нею. Хотя другим она кажется хуже ее, но у нее есть выражение в лице, которого у моей жет» (стр. 29—30).

Поистине «он был в ужасном положении», как горестно замечает по этому поводу его юный друг!

Через несколько дней Василий Петрович доверительно сообщает ему: «... мне было бы жалко теперь убить ее отказом, я не могу не кончить дела. А между тем я совершенно равнодушен, и если пробудилась во мне, то только физическая сторона» (стр. 30).

Еще через несколько дней: «Во время обручения у меня физическая природа взяла свое, шевелилась, но больше ничего. А для этого употребления она чрезвычайно хороша, но это чувство совершенно физическое; и я готов был бы употребить ее теперь, пожалуй» (стр. 30).

А за два дня до свадьбы он и совсем примирился с судьбой: «... приготовляя и укладывали приданое, была идиллическая сцена, невеста плакала и так плакала, что я даже был расстроен и расстроган и сам плакал; а, черт возьми, я тяжел до слез и черт знает, сколько уж времени не плакал. Нет, она не так ограничена, как я думал. Я напишу как можно скорее своим» (стр. 31).

Перед нами тип пуганика, немного нытика, себялюбца, привыкшего носиться со своей драгоценной персоной, любящего для эффекта порисоваться «сложностью» и «тонкостью» своих душевных переживаний, а, в сущности, человека нравственно пошлого. Равнодушно безразлично к судьбе человека, о «долге» перед которым льются такие жалобные слова, эгоизм, которому мало быть, которому надо еще кокетничать, прикидываясь чувством долга, добровольно взваленным, — таков истинный облик Лободовского, просвечивающий сквозь флер его словесных построений. Его ярчайшая черта — ложноромантическая поза при очевидной ординарности.

«Главная причина жениться», указанная им, им придумана, чтобы найти «высокий» мотив для обыкновенного дела. И все его «страдания» отдают той же нравственной нечистоплотностью, лишь прикрытой слегка претензией на трагическую значительность.

Все эти выводы являются следствием нашего, читательского, осмысления того, что объективно вытекает из слов Лободовского, как они записаны Чернышевским. Но юноша Чернышевский сам не делает таких выводов в своей дневниковой записи. Ирония по отношению к Лободовскому или трезвое понимание его характера там отсутствуют. Отражая фигуру своего старшего друга с поразительной характерностью и вниманием к наиболее важным, существеннейшим обстоятельствам его психологического и нравственного облика, юноша Чернышевский не судит его (возможность чего объективно возникает): дружеское расположение к Лободовскому, безусловное преклонение перед ним, сознание своей житейской неопытности и необыкновенно суровое отношение к собственному своему нравственному состоянию лишают его такой возможности.

Эта резкая противоположность между авторским и читательским отношением к герою приводит к тому, что образ Лободовского «остраняется», приобретает в читательском восприятии самостоятельную жизнь, окрашивается эстетически. Возникнув, этот эффект распространяется и на образ автора записи: во взаимосвязи с образом Василия Петровича он также оказывается «остраненным». Реальная тема дневниковой записи перерастает в тему художественную, замыкается в собственные границы в соответствии с открытым еще Аристотелем законом единства художественного действия; события жизни реальных людей становятся сюжетной канвой этой темы и начинают вскрывать такие проблемы, о которых, вероятно, не думали тогда ни сами эти люди, ни автор записи.

О Надежде Егоровне мы слышали до сих пор от Василия Петровича. Пока его друг не видел ее сам, он не имел случая составить о ней собственное мнение. Показательно, что записать событие он сел *после* того, как увидел ее: он обнаружил, что хотя Василий Петрович несомненно искренен, но Надежда Егоровна отнюдь не такова, какой она являлась в его описании.

Надежда Егоровна, с которой автор не разговаривал даже после личного с нею знакомства и не мог поэтому предоставить ей самостоятельное слово в своей записи, предстает перед нами в двух субъективных отражениях: Василия Петровича и автора.

Что же увидел в ней автор?

Вот его впечатление от нее в день венчания: «Это была девушка полная, с круглым благородным лицом... широкий лоб, правильно очерченный нос и подбородок, прекрасная шея и голубые глаза... она мне казалась лучше и лучше... Меня предупредило в ее пользу благородство и тонкость, с которой она старалась держаться перед благословением, ... и во время благословения держалась спокойной и то, что даже в то самое время, как чувство превозмогло ее, она так мило и благородно держалась, — естественная, как мне казалось, грация и благородство; и то же самое во время венчания. Все время венчания я... любовался ею... [У] Надежды Егоровны... контуры все так благородны, правильны и вместе с полнотою лица так изящны и тонки... и кроме того, лицо имеет такое тихое, даже в этом бурном состоянии, такое отрадное и вместе глубоко нежное выражение» (стр. 31—32). Во время свадьбы, говорит автор, «меня радовало это милое, нежное, благородное существо. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал, или как это сказать, меня...» (стр. 32).

Как противоречат друг другу эти два взгляда на Надежду Егоровну! Василий Петрович говорил об ограниченности, неразвитости и неспособности к развитию. Чернышевский увидел отсутствие ограниченности, физическое и душевное благородство, способность к развитию. Можем ли мы присоединиться к одному из этих взглядов? Василию Петровичу мы, пожалуй, не склонны нравственно доверять, зато на его стороне житейская опытность. Взгляд автора симпатичнее своей гуманностью, доброжелательностью, к тому же он не голословен, но он ничем не может быть пока и подтвержден. Образ Надежды Егоровны так и остается для нас раздвоенным.

Зато благодаря ему мы можем определенно увидеть, насколько противоположны друг другу Василий Петрович и автор. Первый погружен в себя и только в себя. Второй — весь растворился в чувстве дружбы. Он — друг истинный, ибо не склонен непременно поддакивать из ложной солидарности; сочувствия переживаниям друга, он в то же время как бы встал на стражу его счастья и поэтому критически проверяет его мнения, не соглашается с его пристрастиями там, где собственные наблюдения расходятся со взглядом друга. Он гордится тем, что друг, напротив, легко соглашается с ним, начинает поддакивать ему в оценке Надежды Егоровны. Эта гордость нетщелавна и альтруистична: он мечтает об усилении своего влияния на Василия Петровича для самого Василия Петровича.

В таком контексте фразерство Лободовского обнажается с особой очевидностью.

Вот он во время свадьбы *«несколько раз, подходя на несколько минут ко мне, говорил, что думает, что привяжется к ней тихой, спокойной любовью и будет с нею счастлив»* (стр. 32). Как многозначительны здесь слова о «тихой, спокойной любви»! Василий Петрович говорит это «несколько раз», т. е. намеренно подчеркивает контраст между своими трагическими «надрывами» до свадьбы, которые претендовали на «неразрешимость» и влекли своего обладателя чуть ли не прямо в запой, и теперешним душевным «умиротворением». Все это — ходульные штампы, взятые напрокат из арсенала романтизма.

Может быть, все-таки Лободовский это все действительно переживает? Пусть его переживания отдадут литературным романтизмом — но если они в нем и вправду есть?! Однако читатель не остается на распути: маленькая деталь, замечание в скобках освещает реальным светом весь этот фейерверк поз и фраз: *«Когда венчали, я все смотрел на них обоих... Вас. Петр. стоял, казалось, спокойно, а между тем, — говорил после, — дрожал, как в лихорадке (я этого не заметил)»* (стр. 31).

Это похоже на знаменитую фразу дитяти о голом короле из сказки Андерсена. Ведь способность автора цепко видеть и тонко замечать нам уже хорошо известна. Поэтому несомненно, что Василий Петрович и здесь позирует и рядится в «гарольдов плащ», а Чернышевский простодушно сочувствует его байронизму и из уважения к другу увековечивает момент своей «непроницательности». Каждый из «героев» вполне сохраняет здесь свой характер.

Через три дня после свадьбы Василий Петрович делится с другом своей радостью относительно перемены в себе, ради которой он вообще решил жениться, и в то же время полностью признает правоту друга в оценке своей жены: *«... во мне большая перемена нравственная, — это существо вовсе не такое ограниченное, как я думал; напротив того, в ней много ума, весьма много, и чрезвычайно много естественного благородства во всем, даже в манерах (это я-то заметил и в день свадьбы), и она будет иметь на меня чрезвычайно влияние, и с нею буду счастлив, она чрезвычайно любит меня; правда, она не образованна, но этому легко пособить, у нее большие способности, и она весьма мила; я ее буду любить и теперь неравнодушен. Начинаю быть деятельным»* (стр. 33).

«Это все вместе меня весьма обрадовало...» — замечает автор. Однако, несмотря на то, что Василий Петрович уже «начинает быть деятельным», заботы у друга его не уменьшаются, а прибавляются. Через несколько дней, во второй половине записи, эта забота уже сформулирована: *«... я постоянно думаю о них, и мне хочется видиться с ними и чтоб он рассказывал мне о Над. Егор., и сердце постоянно как-то сжато от ожидания: чувство приятное, хотя есть несколько и стеснений, — они, кажется, оттого, что не знаю, как-то [он] еще окончательно поймет характер и пр. Над. Егор. и, кроме того, как он будет доставать деньги»* (стр. 35).

Стал ли Василий Петрович «деятельным», создал ли он «счастье» Надежды Егоровны, — на эти вопросы в первой дневниковой записи Чернышевского ответа нет. Но зато исчерпывающий ответ дает последующий двухлетний дневник Чернышевского.

Чернышевский за это время успел коренным образом переработать свое мировоззрение, заявить себя в кружке Иринарха Ивановича Введенского, сойтись с петрашевцем Ханьковым, изучить Гизо, Гегеля, Фейербаха, Фурье, Консидерана, программы и речи французских либеральных социалистов, изучить английский язык, подготовить флорник по летописи Нестора, составить записки лекций И. И. Срезневского, сделаться убежденным поклонником Лермонтова, Гоголя, Жюль Санд, Диккенса, написать три повести, между прочим давать постоянно частные уроки, закончить университет с кандидатским дипломом.

А что же Василий Петрович? Слова его — «начинаю быть деятельным» — остались фразой. Он жалобно и скучно поскуливал по поводу своего затаившегося равнодушия к жене, много спал, просящая, между прочим, важные визиты, которых ему добивался Чернышевский и которые были необходимы для устройства на службу, со страстью отдавался мелким перипетиям ненависти к родным Надежды Егоровны, по вечерам играл с нею в карты и с незамутненной совестью в течение двух лет состоял с супругой на содержании у Чернышевского, принимая полностью весь заработок последнего от уроков и львиную долю того, что присылалось Чернышевскому от родителей из Саратова, при этом ему вполне удавалось «не замечать», как друг его обнашивается и во всем урезает себя.

Как видим, этот затаившийся «эпизод» ничего не опровергает в той психологической картине, которая открылась нам с самого начала. Более того, он доказывает, что картина открылась верно. Можно удивляться, пожалуй, тому, что Чернышевский, оценивавший Василия Петровича очень высоко, нигде не исказил подлинного смысла картины. Но, по размышлению, в этом нет ничего удивительного: острые и верные наблюдения, стенографически подробно зафиксированные с величайшей точностью, говорят сами собою. Под пером Чернышевского событие действительности обрело «художественную полноту и законченность».

И в самом деле, та тема записи, о которой мы говорили, оказалась вполне исчерпанной, так что ее можно сформулировать: борьба за счастье девушки, невинной, юной, доверчиво и с любовью идущей под венец, с любовью, хотя и без страсти — она в ней еще не проснулась.

Развитие темы в ходе ее изложения выявляет проблему, возникающую из взаимного соотношения характеров всех трех центральных «действующих лиц» рассказа: какие условия ведут к тому, чтобы счастье было настоящим и прочным; как мало чистая девушка, достигшая возраста невесты, готова к самостоятельности выбора; какие нравственные качества и связанные с ними взгляды на жизнь и на людей более жизненны — взгляды ли «опытного» человека, идущего зигзагами реальных житейских отношений, или же взгляды незагрязненного, «безопытного» юноши, избирающего принципы, способные очеловечить, облагородить, очастливить его и окружающих?

«Эпилог» вполне отвечает на эти вопросы. Постепенное потускнение образа Надежды Егоровны в последующем дневнике Чернышевского, ничего не опровергая в системе взглядов самого Чернышевского, замечательно ярко освещает истинную цену фразам и завякам Василия Петровича. Впрочем, образ Василия Петровича в последующем дневнике — это целая самостоятельная тема для исследования...

Мы выбрали из дневника Чернышевского один фрагмент и постарались показать, какое богатство содержания — помимо собственно биографического — он в себе содержит и насколько он эстетически полноценен.

3

Вопрос о том, почему Чернышевский, отметивший в Лободовском все необходимое для правильной его оценки, сам не только такой оценки не дал, но и не увидел ее возможности, возвращает нас к смыслу и значению дневника Чернышевского в целом.

Из дневниковых записей 1848—1849 годов можно увидеть, в чем выразилось несомненное влияние Лободовского на Чернышевского: под его влиянием Чернышевский начинает по-настоящему задумываться над проблемой революции в России, а в литературном плане — начинает читать и вчитываться в Гоголя и Лермонтова, сперва не умея еще самостоятельно аргументировать, но принимая ту высочайшую оценку их значения для русской литературы и русского общества, на которой настаивал Лободовский в их беседах. Зная, во что это вылилось благодаря Чернышевскому в дальнейшем развитии русского общества, нельзя не признать, что, какими бы случайными ни были обстоятельства, связавшие Чернышевского именно с Лободовским, эта связь так или иначе отвечала коренным запросам внутренней эволюции Чернышевского,⁹ в особенности в первую пору его духовного возмужания, которое началось как раз весной и летом 1848 года. Еще не раз Чер-

⁹ А. П. Медведев в статье «Н. Г. Чернышевский и В. П. Лободовский», являющейся исследованием проблемы в плане биографическом, аргументированно и убедительно доказывает ложность традиционного мнения о положительном влиянии В. П. Лободовского на студента Чернышевского (см.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. 2. Под ред. проф. Е. И. Покусаева. Изд. Саратовского университета, 1961). Однако в статье А. П. Медведева этот взгляд проводится несколько прямолинейно. К уже указанным в литературе причинам влияния Лободовского на Чернышевского можно добавить следующие:

1) А. П. Медведев говорит о «гипнотическом плене». Уместно спросить: «гипнотический плен» или душевная деликатность, не позволяющая наедине с собою говорить резко, чем в глаза самому человеку?

2) Почему не предположить, что Лободовский влиял на Чернышевского больше, чем этого можно было бы ожидать объективно? Ведь для этого было бы достаточно того, чтобы Лободовский сам подпал под некоторое влияние Чернышевского. Если неизвестно, было ли такое влияние в действительности, то дневник (и, в частности, анализируемая нами запись) свидетельствует, что Чернышевский предполагал свое влияние на Лободовского.

3) Как это ни парадоксально, но Чернышевскому было тем труднее высвободиться из-под влияния Лободовского, что Лободовский был как раз не тем, кем считал его Чернышевский. Человек рационалистической складки, если его рационализм ориентируется на реальную действительность, а не отворачивается от нее, склонен чрезвычайно высоко ценить так называемых «людей действия», людей, чуждых «односторонности» последовательного рационализма. От Лободовского исходил тот «плотский запах», который вчуже питал рационализм Чернышевского в его самых высоких устремлениях. В таких условиях достаточно было со стороны Лободовского проявить добрую волю идти на консолидацию, а не на холодящую дифференциацию личных мнений, чтобы это вызвало «странную» непомерность оценок его личности со стороны Чернышевского.

нышевский будет чувствовать (и отмечать в дневнике) превосходство уверенного в себе и в своих мнениях Лободовского над кажущимися ему зыбкими и недостаточно еще осмысленными собственными суждениями и симпатиями. Лишь постепенно и в той мере, в какой духовное становление Чернышевского будет углубляться и определяться, будет ослабевать и меркнуть его детское преклонение перед Лободовским. Но весной 1848 года до этого было еще далеко.

А между тем уже майская запись 1848 года, первая дневниковая запись Чернышевского, открывает перед читателем перспективу будущей эволюции ее автора.

Через пять лет, в саратовском дневнике 1853 года, накануне *своей* женитьбы, Чернышевский будет писать о причинах, побуждающих его жениться, и среди многих других мы находим следующую:

«Жить здесь — значит терять свою карьеру. Будет ли у меня довольно сил, чтобы вырваться отсюда? Два года, которые я прожил здесь, в течение которых я два раза собирался решительно уехать и все-таки не уехал — почему, это другое дело... — доказали, что у меня нет решимости уехать отсюда, если меня не принудят обстоятельства... Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений с перспективой быть асессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен поскорее уехать в Петербург. А я не могу ехать, если обстоятельства меня не заставят. Какие же обстоятельства? Служебные? Я уверен, что меня не вытеснят, а я скорее поставлю всех вверх дном и останусь, если уж на то пошло... Остается одно — приобретение возможности жениться. Да не просто в части возможности жениться, а по необходимости жениться. Мысль о женитьбе только тогда подействует на меня, ... когда я буду не человеком, который думает жениться, а когда я буду женихом... без этого у меня не достанет сил уехать отсюда, покинуть маменьку. Я должен уехать. Без этого одного уж я несчастьлив на всю жизнь. Итак, я должен стать женихом О. С., чтобы получить силу действовать, иначе —

*На путь по душе
Крепкой воли мне нет»* (стр. 481—482).

Через несколько дней эта мысль повторяется:

«Я чувствую себя совершенно другим человеком после 19 февраля (в этот день Н. Г. Чернышевский сделал предложение Ольге Сократовне, — Ю. Р.). Я стал решителен, смел; мои сомнения, мои колебания исчезли. Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия» (стр. 500).

В тот же день он добавляет, обращая мысленно к невесте:

«Вот твоё влияние:

Я стал через тебя из тряпки, дряни — человеком; я стал из ожесточенного — радостным, гуманным в мыслях; я стал из мнительного, недоверяющего себе — уверенным в себе, уважающим именно себя» (стр. 504).

Как это перекликается с той «главной причиной жениться», которой поделился с Чернышевским его друг в конце апреля 1848 года! Конечно, это не Лободовский: сила страсти, окрыленность чувств, бодрость настроения, энергия планов — все это так мало похоже на вялый пессимизм и тусклое нытье Василия Петровича.

Однако совпадение некоторых «мотивов» при обеих женитьбах нельзя считать случайным. Чернышевский до конца жизни неизменно подчеркивал «побудительную» роль жены для своей жизни, общественной и писательской деятельности. Эта мысль была частью его природы. Как же могла она не поразить юношу Чернышевского, она, осветившая для него такое важное в нем самом! Не в этом ли причина той бережной подробности, с которой слова Лободовского — через три недели после того, как были произнесены, — записаны Чернышевским?

Юношу взволновало тогда и другое. На пороге своих двадцати лет он ощутил в себе сквозь темную физиологическую стихию пола пробуждающуюся сердечную потребность любви. Женитьба друга приоткрыла для него таинственную завесу над интимной стороной многосложных и противоречивых отношений мужчины и женщины. Чувство дружбы и бескорыстное желание другу счастья очищают его самого и открывают ему глаза на то хорошее в себе, о существовании чего он до сих пор не знал.

«Я был радостен сердцем...» (стр. 32), «я не так в сущности холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал» (стр. 34), «давно я не чувствовал такого тихого осчастливливающего удовольствия, как в этот вечер... Эх, хорошо иметь полное сердце. Это еще более дало мне почувствовать радости семейной жизни — во всяком случае, как я воображаю и желаю ее всем... Это радостно для меня и потому, что уверяет меня, что я не такой негодяй, как думал и, может быть, имел раньше основание думать, что я способен питать чистую привязанность к посторонней девушке или молодой женщине, не думая ни о любви к ней, как обыкновенно понимают эту любовь, ни о тому подобном, а просто питать расположение к ней» (стр. 34—35).

В приведенных высказываниях настойчиво повторяется мысль о дружбе между юношей и девушкой, шире говоря — между мужчиной и женщиной. Уже здесь Чернышевский осмысливает этот вопрос как моральную и даже мировоззренческую проблему и формулирует выводы: «...меня обрадовало... то, что физическая сторона во всех не так сильна, как обыкновенно думают, и что это поддерживает мое постоянное мнение о девушках, на которых, с одной стороны, я смотрю как-то слишком платонически и считаю их более, чем обыкновенно думают, доступными влиянию в обыденной жизни и выходе зауж других чувств, а не физической потребности любви. И как один из примеров и доказательств, что есть такие женщины и девушки, как я думаю про большую часть их (пока не увлекутся они испорченностью жизни и не охладеют постепенно), мне стала мила Надежда Егоровна, мил и Василий Петрович, которые доказывают и служат примером моему взгляду на молодых людей» (стр. 34).

Еще более значительным выводом кончается и вся эта запись. Радуюсь «перемене своего характера», Чернышевский восклицает: «Дай бог, чтобы оставалось это в таком направлении, как эти дни, все до сих пор.

Не так ли это: всегда я склонен — может быть, потому, что дурен слишком сам, ... судить о других не по тому, каков я сам, а по тому, каковым бы мне хотелось быть и каковым быть было бы легко, если бы не мерзкая слабость воли, это *laissez faire*, которого, как я думаю, нет у других, — я не хочу оскорблять человечество, судя о нем по себе вообще, а сужу о нем не по цепи всей своей жизни, а только по некоторым моментам ее, когда бываю доступен чувствам высшим; поэтому я готов все видеть в свете той неспорченности, какую я желал бы иметь сам...» (стр. 37—38).

Последняя формулировка представляет собой один из краеугольных камней всей этической концепции Чернышевского. «Высшее» в человеке человечнее, характернее, существеннее для человеческой природы, чем «низменное», «темное»; предостительное внимание при суждении о человеке к «высшим чувствованиям» его, а не ко «всей цепи его жизни» — это фундамент и «разумного эгоизма», и «антропологического принципа», и революционно-героического начала в жизни самого Чернышевского и революционеров-шестидесятников и народников. В этой формулировке замечательно даже то, что логика, «способность суждения» выдвинута на передний план: ведь именно логичность, императивный рационализм является коренным — и едва ли не единственным — недостатком всех теоретических концепций революционно-демократов. Здесь на наших глазах происходит процесс становления революционно-демократической этики, которая в зрелых произведениях Чернышевского предстает перед нами как стройная и выработанная система.

В то же время выводы, сформулированные здесь Чернышевским, имеют самое близкое отношение к его последующему художественному творчеству.

Идея «чистой привязанности» к женщине является одной из важнейших тем романа «Что делать?» и ведущей темой романа «Алферьев». Мысль об ограниченной роли «физической стороны» в «обыденной жизни» людей проходит красной нитью через «Повести в повести» и выступает одной из главных идей в «Истории одной девушки». Из всех излюбленных идей Чернышевского-писателя остается незамеченной здесь только одна — идея раскрепощения чувства любви, антигуманности узкой, тупой и бедной господствующей морали. Но ведь это только первая запись! В дальнейшем мы и эту идею встретим, причем во всей первозданности ее постижения, — в саратовском «Дневнике моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье».

К художественным произведениям Чернышевского ведут и некоторые реалии записи. Например, в характеристике, данной Лободовским своей старшей сестре, — «это превосходная, но выше своего состояния и женихов девушка, которая поэтому должна остаться незамужнею» (стр. 29), — предчувствуется уже очерк характера и судьбы Лизаветы Арсеньевны Свилиной, героини «Истории одной девушки». Сама Надежда Егоровна — главным образом в ее авторской интерпретации — это один из тех женских типов, которые Чернышевский будет разрабатывать в «Повестях в повести», в частности в «Объективных очерках А. А. Сырнева». А некоторые черты Лободовского и таких лиц из дневника, как Иван Григорьевич Терсипский и Александр Федорович Раев, художественно обобщены в типе Николая Федоровича, чуть ли не самого интересного героя студенческой повести Чернышевского «Теория и практика» (1849).

Конечно, нет в майской записи еще того революционного подтекста, который проходит сквозь все, созданное впоследствии Чернышевским для печати. Но самый процесс становления его революционного мировоззрения лежит в будущем и в том же дневнике отразится во всей своей многогранности и многосложности.

Хотя и поразительна та предельная насыщенность первой дневниковой записи Чернышевского идейной, нравственной и психологической атмосферой, которая пройдет сквозь всю дальнейшую жизнь и все дальнейшее творчество Чернышевского, однако в контексте всего дневника этот факт закономерен.

Внутренняя цельность и законченность дневника, говорили мы, являются следствием тематического богатства его, полноты и последовательности в освещении всей совокупности избранных тем, систематичности и строгости нравственных критериев, классической цельности характера, который в дневнике выступает одновременно и объектом и субъектом наблюдений, удивительной чуткости и точности самонаблюдений. И так как дневник был для Чернышевского-студента инструментом самопознания и самоконтроля, он прекратился не раньше и не позже того, как сыграл эту свою роль.

В первый раз он фактически обрывается с окончанием университета: идут отрывочные записи, затем и до этого «не доходят руки». Новая, начинающаяся жизнь не так замкнута и, следовательно, не столько времени оставляет для размышления, и нет той острой потребности излиться наедине перед самим собой, ибо для себя решены уже главные принципиальные вопросы и наибольший интерес представляет их пропаганда, например ученикам в гимназии.

Потребность в дневнике с новой силой вспыхивает после встречи с Ольгой Сократовой. Новый дневник перекликается с самым началом дневника студенческой поры. Лишь теперь как бы завершается тема, раньше всех других вошедшая тогда в дневник и единственная оставшаяся незавершенной: тема женщины, любви, личного счастья, не опошляющего, не замораживающего, а окрыляющего, стимулирующего к деятельности, к борьбе. И если «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» обрывается буквально на полуслове, то виноват в этом трагический аккорд, сопутствовавший женитьбе Николая Гавриловича, — смерть его матери. Она снимает проблему разногласия с родителями из-за женитьбы, торопит с намеченным уже отъездом в Петербург и ставит категорически точку: все неясное прояснилось, все бродившее определилось, все неустоявшееся сформировалось; теперь новы будут только детали, а главное найдет себе иную трибуну, выйдет на страницы журналов, превратится в факт общественной жизни страны. Это и будут те идеологические и практически-революционные «выводы», которые — со всей добросовестностью ученого и со всей последовательностью революционера — сделает Чернышевский из своего «журнала самонаблюдений».

Как литературное произведение дневник Чернышевского уникален и со стороны своего психологического, этического и философского содержания, и со стороны своей литературной формы: написанный стенографическим способом, он заключил в себе столько конкретных наблюдений над жизнью и людьми (вдумчивых наблюдений «мыслящего человека!»), что даже без сознательной воли на то автора открывает перед читателем живые, художественно полноценные типы, коллизии и проблемы эпохи.

Дневник, таким образом, представляет собою в творчестве Чернышевского двойное начало: не только начало выработки его теоретических концепций и систем, но и начало его художественной деятельности.